



“Тезисы воспоминаний” Ионы Исааковича Гуршман – это повествование о жизни инженера – крупного специалиста в стекольной промышленности. Он родился в дореволюционной России, в интеллигентной еврейской семье, имевшей полное гражданское право на проживание в Санкт-Петербурге.

Кроме истории семьи в книге представлены такие воспоминания автора, как дореволюционное детство, кругосветное путешествие в составе Петроградской Детской Колонии, становление Советской Власти в Петрограде, тюрьма, Ленинградская блокада, послевоенное восстановление промышленности – события, в которых автор принимал самое активное участие.

Иона Исаакович Гуршман

Тезисы Воспоминаний

# Тезисы Воспоминаний

Иона Исаакович Гуршман

...ама заболел...  
...уменьшилось...  
...на 2-й Советской...  
...было все время...  
...драго операцион...  
...но ночь...  
...важно, поддержи...  
...ом у нас...  
...рван без операци...  
...ра не час...  
...и. е. новой экон...  
...важно напра...  
...не из Кр...  
...а быва...  
...активный...  
...рефриж...  
...потеряна...  
...после...  
...взять на...  
...согласился...  
...меленьки...  
...несколько...  
...ко почти...  
...фабрике...  
...аде...  
...т

# Тюрьма

## Копия

СССР Народный Комиссариат Внутренних дел  
Управление НКВД  
Калининской Области Отдел I-й СПЕЦ.  
2 декабря 1938 г. N 10188  
Г. Калинин НКВД

## СПРАВКА

Выдана ГУРШМАНУ Иону Исааковичу,  
1906 года рождения, паспорт серия ЛЭ N 550535, в том, что он с 13/III - 1938 года  
содержался под стражей в тюрьме N1 г. Калинина и 2/XII - 38г. из под стражи  
освобожден в связи с прекращением дела. Справка видом на жительство не  
служит.

Врид. Нач. I-го Спецотдела УНКВД Мл. Лейтенант Госбезопасности: –  
/Козохотский/ Инспектор I спецотдела Сержант Госбезопасности: –  
/Александров/ копия верна: – /подпись/ /печать НКМП - РСФСР – стеклозавода  
“Красный май”

*Дорогой Иночка! Посылаю тебе:*

*1 клгр. Сахару*

*2 буханки хлеба / исправлено 1 бух./*

*10 франц. булочек*

*1 клгр. масла*

*2 клгр. саек /18 штук*

*10 яиц /на обороте/*

*5 луковиц*

*3 клгр. сухарей*

*1 клгр. песку сахар*

*1 батон 2 круга колбасы*

*5 голов. чесноку*

*1/2 клгр. пряников*

*1 клгр. мармеладу*

*5 кор. папирос*

*10 кор. махорки*

*10 короб. спичек*

*Всего 17 наименова... Как твоё здоровье? Поклон и поцелуй от всех. Целую  
тебя. Твоя мама. Мешок большой отошли.*

*Дорогая моя умница! Большое Спасибо. Все получил. Не надо посылать так много, а то портится. Крепко целую всех. твой ИОНА*

Эта передача 5 апреля 1938 г. в Вышневолоцкую тюрьму была разобрана “урками” в камере N 26

## Копия

Дорогой Иосиф Виссарионович! Спасите! Только Ваше личное вмешательство в тот произвол, который допущен в отношении меня, совершенно незаслуженно и неосновательно вопреки нашей Конституции и Вашим личным установкам, может спасти меня от клеветников и карьеристов, а возможно и врагов народа, орудующих в ВЬШНЕВОЛОЦКОМ РАЙОНЕ КАЛИНИНСКОЙ области. При этом они свою работу обставляют так, что возможность обжалования пострадавшим в вышестоящие инстанции исключена, т.е. жалоба идет в руки того, на кого жалуются, т.е. “сор из избы не выносится”. Ни Вы, ни тов. Ежов не знаете, как искажаются ВАШИ установки в этом районе – о бережном и чутком отношении к человеку здесь и понятия не имеют. Ведь не случайно, что партийное и советское руководство, а также и Нач. НКВД района сняты с работы и заключены под стражу, но они оставили глубокие корни “стиля своей работы” в Районе.

Я, Гуршман Иона Исаакович, 31 года от роду, инженер, еврей, сын инженера – служащего (умер в 1926 году). Октябрьскую Революцию пережил 11 летним мальчиком, т.е. вырос, воспитался и получил образование в советских условиях. Мой отец – один из первых инженеров, во время Октябрьской революции ставших на платформу честных советских специалистов, занимал ответственные посты, в 1924 году заболел. К нему было проявлено исключительное внимание советских органов, принявших меры к лечению его в лучших больницах и курортах. Однако, после безуспешного лечения Комиссией было принято решение направить его для лечения в Германию с сопровождающим, так как ходить он не мог. Сопровождать его пришлось мне (кроме меня некому было – я был старшим в семье). И вот по направлению и на Средства Советских организаций в начале 1925 года, получив паспорта в Г.П.У. (которым тогда руководил Дзержинский), мы отправились в Германию, где тогда еще не было фашистского строя. Там мы пробыли 3 месяца. Мне было 18 лет. Все время я проводил при больном отце. Его поставили на ноги. По возвращении домой он прожил еще 1,5 года, в течении этого времени он проектировал первое советское производство текстильных машин завода им. Карла Маркса. Эти моменты создали у меня только чувство преданности и благодарности Советской Власти. Если прибавить к этому, что работая с 1928 года в стекольной промышленности и жестко проводя в своей работе советскую политику, я как инженер, рос на

работе и материально был хорошо обеспечен, то становится очевидным, что я не мог быть недовольным Советской Властью. Предприятия, на которых я работал, как правило, за время моего руководства значительно улучшали выполнение производственных показателей. Последнее время, с 15 июня 1937 года, я работал в качестве главного инженера стекольного завода “Красный май” в 10 км от Вышнего Волочка, причем принял завод с невыполнением программы за I полугодие 85% с 7000000 руб. убытка, а год закончил с годовым выполнением 103% годового плана и прибылью 39000000 р.

Но вот 13 марта 1938 года ко мне приезжает Пом. Нач. Р.О. НКВД Никифоров и следователь Моргунов и арестовывают меня без предъявления обвинения. Во время обыска у меня на квартире они в порядке издевательства, весело наигрывают на моем патефоне. Затем, когда они увидели у меня хороший ремень (у меня, как у командира запаса имеется комплект военного обмундирования), Никифоров предлагает мне “по дешевке” продать им этот ремень, поскольку он мне уже не будет нужен. Я отказался, заявив, что еще буду носить сам, т.к. ни в чем не виновен. В качестве “вещественных доказательств” “моей преступности” у меня отобрали имеющиеся при мне деньги 250 рублей, охотничье ружье и железнодорожную карту СССР (продающуюся на любом вокзале). Завод “Красный май” являлся базой самоснабжения в части художественной посуды для бывшего Нач. Р.О. НКВД, а также ныне работавшего его помощника Никифорова. И вот незадолго перед моим арестом, когда уже несколько партий посуды, конечно, без оплаты, были отправлены Никифорову, на его следующую просьбу изготовить по его специальному заказу художественные изделия, я ответил отказом, предложив ему отправить изделия из брака. Затем он потребовал от меня, чтобы я ему отдал резиновые покрывки для автомашин. Поскольку они нужны были заводу, я отказал. В том и другом случае я получил от него многозначительный ответ “ну ладно же” (иначе говоря – вспомним) – и вот эта “деликатная” угроза, видимо, оформилась соответствующей клеветой, а затем и моим арестом, после чего меня на сутки бросили в холодную, а через неделю вызвали на допрос и предъявили обвинение в шпионаже на том основании, что в 1925 году, мальчиком 18 лет, я был 3 месяца в Германии и что, якобы, я имею связь с агентом Иностранной контрразведки Шукисом, который был председателем Артели Стеклозавода “Труд”, на котором я, действительно, работал в 1935 году в течение 6 месяцев (согласно договора) в качестве технорука и в этот период имел с ним только деловую связь. Ни до, ни после этой работы я его не знал, также как не знал, является ли он шпионом. Это дикое, невероятное для меня обвинение могло явиться только следствием клеветы и “стиля работы” Вышневолоцкого Р.О. НКВД и корней вредительства врагов народа, сидящих у руководства районом и даже областью, видимо, работающих по рецепту предателя Ягоды, убравшего в тюрьмы честных людей в целях создания

недовольства Советской Властью. Меня держат в камере площадью 21 м<sup>2</sup>, в которой помещается 32 человека, на полугодном пайке, продовольственные передачи мне воспрещены, деньги у меня все отобраны, так что мне не на что купить махорку и побриться. Моя семья осталась без средств к существованию, т.к. мне не дают возможности дать доверенности на получение расчета с завода. В перспективе у меня практикующаяся следователями брань и побои, другие репрессии, подбор клеветнических материалов, чтобы любыми средствами утопить меня. Категорически заявляю, что я абсолютно ни в чем не виновен, но в данной обстановке отсутствия объективности и разумного подхода к делу, только Ваше вмешательство может помочь мне установить мою невиновность. Во всяком случае я абсолютно чист, и судьбу свою и моей семьи вверяю в Ваши руки, ибо никакие вылазки врагов народа не изменят мою Веру в справедливость партии и правительства и, в частности, в Вашу. Я прошу Вашего указания: Освободить меня из под стражи. Расследовать изложенные мною факты (я писал Начальнику РО НКВД, но ответа не получил) оперативным порядком, но не сообщая в Районе о моей жалобе, иначе меня здесь съедят. Еще раз прошу, спасите и дайте возможность вырастить своих сыновей честными советскими людьми – Сталинцами.

6 апреля 1938 г. Вышневолоцкая тюрьма

И. Гуршман

Ваш ответ прошу сообщить моему сыну Боре Гуршману:

Ленинград 5, 2-я Красноармейская 7 кв 13

В январе 1938 года я узнал, что за последние полтора года на Вышневолоцком Текстильном Комбинате и его 7 предприятиях уже 5 раз сменялся полностью состав руководства, поскольку предыдущий состав арестовывался. Затем мне, Главному Инженеру Стекольного завода “Красный Май” в Вышнем Волочке, временно исполняющему обязанности директора завода, принесли номер газеты “Бологовский рабочий” с большой статьей, посвященной арестованному в декабре 1937 года, прежнему директору завода “Красный Май” М.И. Иванову, с которым я вместе работал до его ареста. В ней он определялся как троцкистский прихвостень, который будучи ранее директором Берёзовского Стекольного завода занимался вредительством, диверсиями и политическим подрывом Советского государства. По словам газеты он организовывал простои и взрывы на заводе, приказал сыпать в стекло для изготовления детских рожков мышьяк, чем отравлял младенческую часть Советского населения, и отправлял в Турцию бракованные бутылки, осложняя этим международные отношения Советского Союза и т.д. Так трансформировались факты: во-первых, троцкизм это добрые отношения

Иванова с бывшим секретарем Бологовского Райкома Партии, перед тем арестованным по обвинению в троцкизме, во-вторых, факт использования мышьяка, технологически обусловленной, принятой на стеклозаводах добавки ничтожной дозы мышьяка в шихту для осветления стекла, в процессе варки которого он начисто выгорал, в-третьих, факт плановых, кратковременных остановок работы печи на прожиг газоходов, т.е. выжигание осадившейся в них из генераторного газа смолы с предусмотренными, но неизбежными и безвредными хлопками-взрывами при воспламенении смолы, в-четвертых, наиболее тщательная и значительная отбраковка бутылок, направляемых на экспорт. Изложенная в статье версия обвинения Иванова, очевидно, не была просто придумана редакцией газеты. Хотя в то время, при Наркоме внутренних дел, Ежове, шли массовые аресты, в основном, политических, промышленных и военных руководителей всех рангов. Я до сих пор как-то относился к ним спокойно, не анализируя и считая, что ко мне это относиться не может. Я допускал возможность ошибочности части арестов, как, например, Иванова, но верил, что в этих случаях соответствующие органы быстро разберутся. Однако, после прочтения статьи у меня создалось впечатление, что часть предъявляемых Иванову обвинений может быть применена и ко мне, так как на заводе “Красный Май” добавляли в шихту мышьяк, а также производились плановые прожиги газоходов с хлопками. Под влиянием этих черных мыслей мне очень захотелось увидеть своего сына Волика.

По моему вызову, в феврале Катя с Воликом приехали на “Красный Май” и погостили у меня 3 дня. Провожая их, я, на всякий случай, дал Кате деньги на пару месяцев вперед. Завод работал нормально, годовой отчет за 1937 год был принят с положительной оценкой. В конце февраля, наконец, после ряда моих настоятельных просьб на завод приехал новый директор, недавно окончивший Промакадемию, Корсаков. Он оказался приятным приличным человеком, и я предложил ему до приезда его семьи поселиться в моей полупустой квартире. Я ему передал не принятые мною дела и постепенно знакомил с людьми и заводом. После нескольких вызовов в Ленинград, в Стеклопроект, который выполнял некоторые проекты для завода, лишь 1 марта я выехал в Ленинград, поскольку до того я оставался за директора и не рисковал уезжать с завода. 3 марта, когда я закончил дела в Стеклопроекте, я уехал на “Красный Май”. Регине, которая просила меня остаться на празднование с родными и знакомыми ее 29-го дня рождения 4 марта, я, на всякий случай, сказал, что через 2 - 3 месяца приеду и разведусь с ней, и поэтому мне незачем встречаться с ее гостями. Я считал, что гости узнают от нее об этом, и она будет ограждена от неприятностей, если со мной что-нибудь случится. Оставив Регине деньги на жизнь, мои небольшие сбережения отдал на хранение маме, так же как и недавно купленный "Санвим" мотоцикл. Хотя я не знал за собой никакой вины, мои опасения оказались не напрасными.

13 марта после обеда в мой кабинет Главного Инженера в здании технического отдела на территории завода, постучали и вошли зам.начальника Райотдела НКВД Никифоров и с ним еще двое, один из них – следователь Моргунов. После того как я, по его просьбе, закрыл изнутри дверь кабинета, Никифоров предъявил мне ордер на арест без предъявления обвинения и вместе с помощниками произвел обыск, но ничего не взял. После этого они повели меня ко мне на квартиру, где завели патефон, проиграли все пластинки, и за это время пересмотрели все мои вещи и бумаги. Отобрали все личные документы, наличные 250 рублей, железнодорожную карту СССР, продававшуюся на всех вокзалах, наградную грамоту, номерной значок и удостоверение отличника тяжелой промышленности к значку за подписью Орджоникидзе, обнаруженные несколько писем, охотничий билет и двуствольное ружье бельгийской марки. При составлении акта обыска Никифоров предложил отдать понравившийся ему почти новый офицерский ремень из комплекта моего офицерского обмундирования. Я сказал, что ремень еще мне пригодится, на что он ответил, что мне уже ничего не понадобится, так как органы НКВД не ошибаются, но ремень оставил. Затем, когда я оделся, меня вывели, посадили в автомашину “Эмку” и отвезли в Вышневолоцкое отделение милиции, где посадили в камеру с 2-мя деревянными нарами, расположенную в полуподвале. В камере уже были двое – один с запахом винного перегара, видимо, пьяный спал на нарах, второй одетый в меховую шубу, ходил взад и вперед, спросил меня, кто я и почему здесь. Получив ответ, он представился по фамилии, кажется, Бобров, бывший председатель Вышневолоцкого Райисполкома, уже был арестован и после 3 месяцев тюрьмы освобожден, 2 недели был на свободе, а сегодня опять арестован. В общем, мы оба провели ночь без сна. Рано утром проснулся протрезвевший наш третий сосед, который оказался местным рабочим, ждал освобождения со штрафом за пьянство. У него нашелся карандаш и газета для курева. В общем, он записал адрес Кати и обещал сообщить ей о моем аресте. Вероятно, и он написал, и кто-то с завода сообщил Регине, т.к. и мама, и Регина, и Катя быстро узнали о моем аресте. Утром меня опять на “Эмке” перевезли в тюрьму, расположенную на окраине города. Здесь меня после тщательного личного обыска поместили в камеру № 19, площадью 15 - 16 м<sup>2</sup>, в которой сидели и лежали на нарах, под нарами и в проходе более 20 человек. Мне, как последнему прибывшему, отвели место на полу возле “параш”. Товарищи по камере спросили кто я и за что арестован. Я представился, но на второй вопрос, сказал им не знаю. Это вызвало улыбки. Решив, что люди вокруг являются действительными преступниками и знают, за что сидят, я, попавший сюда, видимо, по ошибке, должен с ними быть осторожным. Днем раздали всем по миске “баланды”, т.е. какого-то жидкого месива с несколькими мелкими рыбешками – хамсой, а мне еще кусок хлеба, “пайку”, вечером по кружке кипятка. Получаемый кусок хлеба, “пайка”, грамм 300 - 400 был суточным пайком.

Ночью за мной пришел конвоир и повел в подвал тюрьмы. Там в маленькой камере меня ожидал молодой человек лет 20 - 22 в форме НКВД с круглым лицом, пухлыми щеками и полными губами. Он вытащил из портфеля бланки протоколов допроса и после записи анкетных данных объявил, что я обвиняюсь по статье 58, т.е. контрреволюции, по пунктам 1, 2, 3, 4, то есть измена Родине и шпионаж в пользу Германии и Японии, по пунктам 7, 8, 9 – вредительство и диверсии и еще что-то, чего я не запомнил. Я ему ответил, что все обвинения ложные, что в Японии я был проездом в возрасте 13 лет и выходил на берег в составе экскурсий всего лишь два раза, в Германию ездил, сопровождая больного отца, на средства и по направлению Советских Органов и жил там, снимая комнату у жены арестованного коммуниста, члена Союза Красных Фронтовиков; вредительство, диверсии и прочее опровергаются отчетными данными заводов, где я работал, принимая заводы, не выполняющими планы и приносящими государству значительные убытки, оставляя их безубыточными, перевыполняющими план, как это было и на заводе “Красный Май”. Следователь все это записал, оставляя каждый лист незаполненными на 1/4, после чего дал мне прочесть и предложил поставить свою подпись в конце каждого листа. Однако, я подписался непосредственно под текстами. Тут он вскочил, крича, что все обвинения правильные, а я, чувствуется, очень опытный шпион, и что “здесь не в церкви – не обманут”. Тут уже я взорвался, крича, что ему место в сумасшедшем доме, что не получился его обман с подписью и многое другое. Меня увели в камеру трясущимся от возмущения.

Очевидно, мой вид и дрожь были сразу замечены всеми в камере. Меня успокаивали и утешали, а мне казалось, что я очутился в какой-то страшной сказке. Первым подошел ко мне высокий представительный мужчина с интеллигентным лицом и седоватой бородкой. Предложив познакомиться, он представился, назвавшись, кажется, Богоявленским, сказал, что он профессор, хлопковод, главный консультант хлопчатобумажного комбината, неоднократно бывал в хлопководческих странах – Индии, Египте, Америке и других. А теперь ему инкриминируют шпионаж и вредительство. Он, также как и я, считал, что попал сюда по ошибке, а остальные кругом преступники, а когда услышал дикие, не обоснованные ни на чем обвинения своих соседей, понял, что он такой здесь не один, оказалось большинство. Подошли два священника, большую часть времени проводившие в молитвах, в основном, на коленях. Они изрекали евангельские истины о долготерпении и вознаграждении за него. Им, единственным в камере, регулярно приносили продовольственные передачи от паствы, разрешенные, по-видимому, как исключение, чтобы не дразнить верующих. Однако, всё получаемое продовольствие они полностью делили, по-христиански, между всеми. Священники были “преступниками”, так как отравляли народ опиумом религии. Сидел в камере талантливый поэт, почти мальчик, деревенский



почтальон, читавший нам свои стихотворения и поэмы, в том числе антисоветскую “Зима”, за которую его и посадили. Другой молодой парень – студент комсомолец, отца которого, мастера Ижорского завода, члена партии, посадили ни за что. Студент оказался в тюрьме после того, как он среди студентов кричал, что Ежов – вредитель, сажает невинных людей, и его надо убрать. Пятым человеком в камере, знавшим, за что его посадили, был средних лет десятник торфоразработок, который пьяным вернулся ночью в свою каморку в деревянном бараке, где поскандалил со своей женой, а когда соседи, которых он разбудил, стучали ему в деревянную переборку, угрожая милицией, он покрыл их матом, милицию и, заодно, Советскую власть. Для остальных обитателей камеры заключение под стражу и выдвинутые обвинения были также безосновательны и нелепы, как и для меня. В основном, это были начальники цехов, техники и мастера хлопчатобумажного комбината, все псевдовредители, два старых паровозных машиниста, которым инкриминировалось подсыпание песка в буксы паровозов и вагонов, один стеклодув – финн, обвинявшийся в шпионаже, и другие. Среди мастеров – текстильщиков один также обвинялся в шпионаже. Местный вышневолоцкий житель, еще молодым парнем, работая среди подавляющего большинства женщин на текстильной фабрике, он, будучи холостым, сошелся с одной работницей, жениться не хотел, а после появления ребенка решил убежать от алиментов в Турцию; в Армении перешел границу, но сразу же был возвращен обратно турецкими пограничниками. Тогда органы НКВД, разобравшись в его деле, освободили его, после чего он вернулся на фабрику и по прошествии нескольких лет обзавелся семьей, женившись также на работнице фабрики. Её отец, старый большевик, через некоторое время стал председателем Райисполкома. И вот теперь этот мастер арестован по обвинению в шпионаже в пользу Турции. После очередного допроса мастера вечером втолкнули в камеру избитого, в синяках и подтеках, мочился он кровью, ему оказали посильную помощь, уложили на нары. Когда он немножко отлежался, то рассказал, что на допросе в Райотделе НКВД он, конечно, не признавался в несовершенных им преступлениях. После этого, видимо, по указанию следователя, в комнату вошла группа людей, окруживших его, устроила “футбол”, т.е. ударами ног отбрасывали его от одного к другому. Избитого отнесли в камеру милиции, располагавшейся в нижнем этаже того же здания. Там, в ожидании конвоя и транспорта, он через кого-то передал жене, что его избili и отбили почки. Через несколько дней его забрали из нашей камеры неизвестно куда.

Меня возили на допросы в Райотдел НКВД вначале на автомашине с двумя конвоирами, а потом на двуколке с одним сопровождающим – видимо, я оказался не столь важным преступником, как им казалось вначале. Допрашивали меня почти каждую ночь. Следователь Моргунов, молодой человек лет 25, с худым изможденным лицом и бесцветными холодными глазами, в очках, одна дужка

которых была заменена замотанной за ухо ниткой, первоначально старался показать себя вежливым и культурным человеком. Он каждый раз подробно расспрашивал о моем кругосветном путешествии в составе детской колонии и о поездке с папой в Германию в 1926 году, часто повторяя одни и те же вопросы, очевидно, в расчете сбить меня, а также акцентировал нелепый вопрос: когда, где и кто меня завербовал. Листки протоколов он заполнял честно до нижней строчки, под которой я ставил свою подпись. Почерк у Могунова был хороший, но образование для следователя было недостаточным. Так, например, когда я рассказывал о морском путешествии детской колонии, вспомнил о пребывании в Сан-Франциско, Моргунов выслушал и спросил: “Ну, а из Франции куда вас повезли?”. Географию он, видимо, плохо знал. От допроса к допросу он становился грубее, перешел на “ты” и не стеснялся угрожать мне. Во время допроса Моргунов, похожий на фанатичного иезуита-инквизитора, сидел за письменным столом, а я напротив на табуретке приблизительно на расстоянии одного метра от стола. И вот, примерно, через 7 - 8 дней после моего ареста, Моргунов после нескольких вопросов, не записав ничего вышел из комнаты, а вместо него вошел и сел за стол другой человек. Он все время вставал из-за стола, подходил ко мне и кричал то в одно, то в другое ухо: “Сознавайся, что ты враг народа”, еще что-нибудь в этом духе и, конечно, всякие угрозы. Через несколько часов его сменил другой работник НКВД и спектакль повторялся. В общем, примерно, через каждые 4 часа они сменялись, а я все сидел на своем табурете, предупредили, что если встану без разрешения – прямо в карцер. С разрешения выходил с конвойным только в уборную. Это, как потом я узнал, называлось следственным “конвейером”, который проводили, в основном, молодые люди, одетые в форму и в штатском. Из них только один юноша в штатском, севший за стол на 3-ю ночь, сначала помолчав, сказал, что он не следователь, а конструктор, учится заочно в техническом ВУЗе, а здесь находится по направлению Райкома Комсомола. Опять помолчал, потом, видимо, решил задать недопустимый для него вопрос: неужели, как говорят, НКВД никогда не ошибается и массовые аресты охватывают только врагов народа? Неужели Вы, получивший образование при Советской власти, и в короткий срок, молодым, выросший до главного инженера крупного завода, могли стать врагом народа? Он закурил, поймал мой взгляд, с жадностью направленный на его папиросу. На его вопрос сильно ли мне хочется курить, я, конечно, ответил утвердительно. Он сказал, что не имеет права давать мне папиросы, но я буду курить из его рук, пока он будет около меня кричать, что я враг народа. Так я выкурил папиросу, после чего он прекратил крики, а у меня закружилась голова. Я старался держаться, не упасть с табурета, чтоб не подвести его, а когда пришел в себя, рассказал ему, как фактически, выглядят мои “вредительство” и “шпионаж”. Перед концом своей смены он сказал, что теперь он не знает, чему и кому верить, и что ему будет

очень трудно. Больше я его не видел и фамилию не знал, но я убедился, что далеко не все разагитированные комсомольцы являются тупыми фанатиками. После него “конвейер” продолжался, а в следующую ночь, т.е. через трое суток от начала, я не выдержал и упал с табурета на пол без сознания. По-видимому, меня отливало холодной водой, потому что очнулся на полу изрядно промокший и сразу же был отправлен в тюрьму.

А на следующий день меня перевели в камеру N 26, где на площади около 21 м<sup>2</sup> сидели 32 уголовника, в основном “урки” (т.е. уголовный рецидив), чего я, конечно, в момент прихода туда еще не знал, не знал я также, что “урки” люто ненавидят “контриков” и “фашистов”, т.е. заключенных по 58 статье, за то, что из-за последних благодатные “дома заключения”, в которых можно было зимой и отдохнуть, Ежов переименовал и превратил в жестокие тюрьмы. И последнее, что я также позже узнал от одного из заключенных, находящегося под следствием шофера, случайно сбившего пьяного человека на дороге, что за день до моего прихода из камеры вынесли в очень тяжелом состоянии в тюремную больницу двух майоров, избитых “урками”. Но эти сообщения были позже. А пока, войдя в камеру, не зная, кто в ней, спросил, кто здесь староста, чтоб определил мое место. С нар поднялся и подошел ко мне здоровяк среднего роста, очень широкий в плечах, лет около сорока с большой рыжей бородой с грубым лицом, он спросил – кто я, на что получил ответ, что такой же арестант, как и он. Но его интересовало мое положение до тюрьмы. Я тогда сообщил, что был главным инженером завода “Красный Май”, и этого оказалось мало – “какой специальности инженер?” спросил он, а узнав, что я химик, обратился к сидящему на нарах парню: “Митька, слазь вниз, дай место инженеру”. Я почувствовал себя неловко и сказал, что до нар моя очередь далека. Он несколько грубо ответил, что здесь он староста, и никому рассуждать не положено. Когда я уселся на новом своем месте на нарах, староста подсел ко мне и спросил, “каким средством, которое просто продается в аптеке, можно разобрать кирпичную стенку?”. Подумав, я ответил, что известняковые швы кирпичной кладки можно растворить уксусной эссенцией. Этим сообщением он, видимо, остался доволен, т.к. сразу спросил, у кого есть свободный кисет, получив и отдав его мне, велел собрать со всех в этот кисет махорку и бумагу. Потом он объяснил мне, что здесь сидит все “жульё” – так называют себя уголовники и “урки”, у которых свои законы, и что выбранный староста в камере волен в жизни и смерти каждого выбравшего его, но и сам отвечает за камеру и должен идти в карцер даже на смертельные 20 суток или получить другое тяжелое наказание, не выдавая никого. На следующий день состоялся установленный для уголовников выход в коридор около нашей камеры для написания и подачи жалоб и объяснений по делам каждого желающего. Сидевшие со мной уголовники, как правило, умные и хитрые люди, но в большинстве были малограмотные. Столик с чернильницей,

пером и бумагой в коридоре был один. И вот меня посадили за него, а около выстроилась очередь тех, кому я должен был грамотно изложить и написать высказанные ими положения. Тут у меня состоялось более близкое знакомство с товарищами по камере, в том числе и с шофером, не уголовником. Воспользовавшись случаем, я также написал от себя Начальнику РО НКВД заявление о том, что я ошибочно арестован, все обвинения нелепы и ни на чем не основаны, но в условиях ведения дела безграмотным следователем Моргуновым, который не знает разницы между Сан-Франциско и Францией, а также много другого, я не могу рассчитывать на объективное признание им ошибки и оправдание. После кучи написанных мною для товарищей жалоб в камере создалась доброжелательная для меня атмосфера. Поскольку уголовники, в отличие от 58 статьи, имели право неограниченного получения продовольственных передач, приносимых подавляющему большинству обитателей камеры, меня также подкармливали в тактичной форме угощения. После “выхода в коридор”, вечером, в камеру вошла группа надзирателей и произвела, так называемый, плановый календарный обыск, раздев всех голыми, но ничего не нашла, хотя, как я узнал впоследствии, у некоторых имелись лезвия бритв и даже ножи. В следующую ночь меня увезли на допрос, снова к Моргунову. В начале он вновь повторил избитые вопросы, а затем грубо начал орать на меня за написанную мною начальнику жалобу, выкрикивая, что он учился “за кулю картошки”, но что он своим классовым чутьем чувствует во мне врага народа. Я нарочно заставил себя смеяться ему в лицо во время его выкриков, а потом, выслушав его, сам закричал, что он изолгался как и в обвинениях меня, так в части его “классового чутья” и “куля картошки”, так как по возрасту он не был ни батраком, ни рабочим, а учиться при Советской власти мог бесплатно, без куля картошки, а просто ленивый недоучка нашел для себя легкую карьеру следователя НКВД. Он побелел от бешенства, выкрикивал угрозы мне, а затем вызвал конвойного и отправил меня в тюрьму, конечно, не в лучшем настроении. Между тем, староста изредка задавал мне вопросы, вроде “как незаметно снять запись на бумаге тушью” или то же – “чернилами”, и тому подобные в этом роде. Я ему говорил, что первое лимонной и щавелевой кислотой, а для второго достаточно и одной щавелевой. Постепенно я знакомился со спецификой тюремного быта уголовников, с азбукой перестукивания через стены, с их жаргоном, на котором опытный матерый, немолодой уголовник, вроде старосты, именовался “паханом”, а молодой – “пацаном”, деньги и документы – “ксивой”, нож – “пиской”, резать или зарезать – “писать”, разговаривать – “ботать” и т.д. О причинах пребывания в тюрьме под следствием у них говорить не полагалось, видимо, из боязни “подсадных” осведомителей. Однако, шофер, как-то тяготивший ко мне, кроме ранее изложенного рассказал потихоньку о нашем старосте. Это был, оказывается, руководитель грандиозной преступной

организации, специализировавшейся на краже целых железнодорожных цистерн спирта. Члены шайки – железнодорожники, заранее сообщали о времени и порядке следования составов с этими цистернами, а затем организовывалась необходимость ремонта паровоза или переформирование состава, так чтоб одна или более цистерн задерживались на условленной станции несколько часов, в течение которых после усыпления сопровождающих охранников подъезжали большие обозы с железными бочками, быстро сливали в них спирт и, восстановив пломбы, исчезали. Сбыт, видимо, также был организован. А на цистерне все было в порядке – и пломбы, и охранник через некоторое время просыпался. В общем, видимо, доходы были большие, так как он купил хутор, где поселил свою любовницу и, по-видимому, прятал оружие. Милиция его выследила и окружила хутор, а когда кольцо близко сомкнулось, он с чердака бросил в них гранаты, убил несколько человек, многих ранил и, пользуясь смятением, убежал. А теперь все же попался, имел уже несколько судимостей и столько же побегов. И вот, когда эта романтическая личность задал мне вопрос “за что я попал в тюрьму”, я сказал, что не знаю, он рассмеялся – “ну и дурак, мы-то знаем, за что сидим”. А потом сказал, что я грамотный и должен писать кому следует, раз моей вины нет.

Через день меня ночью опять отвезли на допрос в РО НКВД, однако, на двери комнаты, в которую меня ввели, дощечка извещала, что здесь Начальник Райотдела НКВД Вовченко. Последний оказался высоким широкоплечим курносом брюнетом, интеллект на лице которого выражен был не сильно. Он, видимо, рассчитывал увидеть меня хорошо избитым “урками”, и для начала разговора разочарованно сказал, что я лучше выгляжу, чем он ожидал. Затем сообщил, что мое заявление получил, но никакой ошибки в части меня не видит, так как НКВД не ошибается. В этот момент в комнату вошел бывший начальник спецотдела завода “Красный Май” в форме НКВД, Калашников. Он увидел меня, остановился, густо покраснел и выскочил из комнаты. Вовченко, не обращая на это внимания, продолжал уговаривать меня сознаться в несовершенных мною преступлениях. В это время принесли и поставили ему на стол тарелку с горячими котлетами, жареным луком и картофелем, которые он принялся есть. Видя, что я, помимо своей воли, смотрю ему в рот. Вовченко с улыбкой говорит, что закажет для меня вторую такую же порцию, если я буду с ним откровенным. Я сразу понял, что котлеты – это приманка. Впоследствии моя догадка подтвердилась – слабохарактерные невинные люди за котлеты клеветали на себя и друзей. Я отвернулся от соблазна и промолчал. Тогда он, с аппетитом съев котлеты, стал уверять меня, что поскольку, по-видимому, моя доля вины сравнительно небольшая, то если я сообщу имена лиц, завербовавших меня и связанных со мною, он добьется для меня минимального наказания, а с учетом времени пребывания в тюрьме под следствием, может быть, я буду сразу после суда освобожден. Когда же я снова сказал, что поскольку не виновен, мне нечего

сказать ему, Вовченко начал угрожать мне, привел цитату из Горького: “если враг не сдастся, его надо уничтожить” и т.д. На это я ответил, что эту цитату я уже слышал от Моргунова, по-видимому, она директивно рекомендована им для допросов, поскольку, очевидно, ни Могунов, ни Вовченко не читали Горького. Тут он взбесился, начал крыть меня матом, всячески ругал, ручкой лежавшего на столе нагана ударил по настольному стеклу и разбил его. Он кричал, что сгноит меня в тюрьме и т.д. Не знаю, была ли это искренняя или наигранная вспышка, но я тоже в ответ начал кричать, что он не советский следователь, а уголовник и за свои дела сам сгниет в тюрьме, а я-то выйду на волю, так как найду правду у Советской власти. Когда я посмотрел на его сытое, круглое наглое лицо, я понял, что если малограмотный фанатик Моргунов, может быть, искренно верил в состряпанные против меня обвинения, то уж Вовченко, конечно, понимал, что я невиновен, но любыми средствами добивался, чтоб я оклеветал себя и своих друзей и знакомых хотя бы из положения престижа безошибающихся работников НКВД, а, возможно, и личной карьеры. После нашей, мягко говоря, перебранки он вызвал конвойного и отправил меня в тюрьму.

Утром после подъема, выхода в уборную и умывальную, получения пайки хлеба и чая, через час или полтора надзиратель открыл дверь и вручил мне вещевую передачу – эмалированную кружку, мисочку, ложку, смену белья, полотенце и 2 носовых платка с сопроводительной запиской, написанной маминым почерком, содержащей перечень и слова “все здоровы, будь спокоен, мама”. Я должен был только расписаться в получении, но добавил к подписи “здоров, получил спасибо Иона”, хотя это уже было отклонением от правил, допущенное надзирателем.

Зарешеченное снаружи окно камеры с большой открывающейся форточкой находилось на высоте порядка 2,5 м. от пола. Для того, чтобы открыть форточку, посмотреть наружу или то и другое вместе, что делалось ежедневно и не один раз, надо было встать на плечи товарищей, т.к. других подставок не было. И вот сразу после ухода надзирателя староста сказал, что я должен показаться в окне и велел двоим заключенным поднять меня на плечи, что они сразу же сделали. Камера наша оказалась на 3 этаже, большой тюремный двор окружала толстая кирпичная стена высотой 4 - 5 метров, в середине которой как раз против нашей камеры было встроено одноэтажное кирпичное здание караульного помещения, проходной и, вероятно, администрации тюрьмы. На площадке за этим зданием толпился народ, но маму я не увидел – по-видимому, она ожидала мою расписку в проходной. Всмотревшись, однако, я увидел младшего братишку Савелика. Я замахал в окно носовым платком, он не сразу заметил, а заметив, узнал меня и помахал мне руками. После этого я закрыл форточку и меня опустили на пол. Староста спросил меня, видел ли я своих, и видели ли они меня, я ответил утвердительно. Оказывается он не случайно организовал это свидание на

расстоянии. “Следующий раз, когда они приедут”, – сказал он, – “ты напишешь кому надо жалобу, а мы ее выбросим брату – он теперь знает наше окно”. Надо сказать, что у моих товарищей по камере была налажена односторонняя почта с внешним миром. Возле круглой печки, не топившейся, поскольку камера обогревалась теплом многочисленных обитателей ее, одна небольшая доска поднималась, и под ней был тайник. Там лежали две палочки, суровые нитки и полоска листовой резины, отрезанной сверху от чуней, т.е. клееных галош для валенок. При получении продуктовых передач с хорошо запрятанными в них записками с непонятным для других текстом, из тайника вынимались палочки, связывались накрест, а к концам их привязывались концы резиновой полосы и рогатка была готова. Снарядом для нее служил комочек из тряпки, в который плотно была завернута соль и в ней крепко скомканная записка на тонкой курительной бумаге. Соль всегда стояла на столе в большой деревянной чашке. Ею посыпали хлеб, когда пили так называемый “чай”, а проще, кипятком. Соль считалась частью пайка и пополнялась из тюремных запасов. Если записка писалась на нескольких курительных листках, их склеивали клейстером, получаемым путем выжимания через тряпку жеваного хлебного мякиша. Стрельба из рогатки выполнялась далеко не всеми – были специалисты-снайперы, которые стояли на плечах товарищей у окна, под потолком камеры, рядом с отправителем почты, указывавшим адресата – “маруху”, т.е. даму сердца, или дружка. Послания, в основном, бывали деловые вплоть до руководящих указаний по работе шайки. Судя по всему, тюремная администрация сквозь пальцы смотрела и на письма в продуктовых передачах, и на обратную почту – но это относилось только к уголовникам, а отнюдь не к 58 статье. В камере, кроме старосты, обращал на себя внимание еще один “пахан”. Это был хорошо сложенный и, по-видимому, сильный человек выше среднего роста лет 40, с неприятным испитым лицом и холодными жесткими глазами, с полным ртом золотых зубов, одетый в хороший кожаный реглан. За что он сидел, конечно, не говорил, но рассказывал, что был членом партии и раньше занимал пост Наркома Финансов Якутской АССР, где много золотых приисков, и через его руки прошло немало золотишка, о коммунистах говорил пренебрежительно, считая их “шкурниками”. Однако, иногда, вскользь, вспоминал о некоторых лагерях, в которых, по-видимому, отбывал сроки. Он владел и пользовался жаргоном уголовников, хотя держался несколько свысока. Но всегда участвовал в их игре, не помню ее названия, состоявшей в том, что один по жребию выставлял за спиной кисти рук, остальные поочередно били по ним ладонями, пока он не называл правильно ударившего, который тогда становился на его место. Если же ошибался, то игра продолжалась, пока у него не распухали руки. Мне он казался подозрительным, и я держался от него подальше. Остальные обитатели камеры были, в основном, молодые люди, в большинстве, однако, имевшие уже

судимости, часто серьезные. Староста, более простой человек, оказался оптимистом. Он считал, что раз я невиновен, то после подачи жалобы должен быть вскоре освобожден. Что касается его, он ждет только этапа – надо понять, что с этапа он убежит. В своих планах он пошел еще дальше, сказав, что на воле он меня разыщет и уговорит быть его “советчиком”, работая где угодно, и не участвуя ни в каких его делах, и будучи знаком только с ним, ну а денег у меня будет достаточно. Я отшутился и сказал, что пока мы оба – в тюрьме за решеткой.

На следующий день утром меня повезли в Райотдел снова к начальнику Вовченко. Последний сказал с наигранным доброжелательством, что несмотря на нашу размолвку, он все же разрешил моей маме передать мне несколько вещей, и что он ожидает, чтоб я одумался и был с ним откровенным, и он мог бы сделать для меня возможное для облегчения моей участи. Я сказал, что все мои показания – правда, и выдумывать я ничего не собираюсь. Он сразу же с озлобленным лицом вскочил, выругался в мой адрес и вышел. Почти сразу вернулся, а следом за ним в комнату постепенно вошла группа его сотрудников, располагавшаяся ближе к стенам. Вспомнив историю с избитым мастером я понял, что готовятся играть мною в “футбол”. Схватив ближайший стул и подняв его над головой, я отскочил к окну и в бешенстве закричал, что могут застрелить меня, но бить себя не позволю и убью первого, кто ко мне полезет. Или я был страшен в этот момент, или окружавшие меня “герои” излишком храбрости не отличались, но стоявшие ближе ко мне попятись, а остальные, видимо, растерялись. После секунды молчания Вовченко с матерщиной заорал, что совсем “уркой” стал, и что никто меня не собирался трогать, а своим помощникам он сделал знак, и они вышли. Вовченко вызвал конвоира и отправил меня в тюрьму.

Через несколько дней, 5 апреля, надзиратель принес мне солидную продовольственную передачу от мамы с письменным перечнем содержимого, на котором я расписался. Староста сразу же велел мне становиться на плечи товарищей к окну показать, чтоб завтра пришли мои родные, которым я должен выбросить письмо. Из окна я увидел Савелика за проходной и, помахав рукой, обратил его внимание, после чего показал на солнце, как оно опускается и поднимается, а затем выставил 10 пальцев. Савелик повторил мои жесты, т.е. понял, что надо прийти завтра в 10 часов. “Теперь можешь писать жалобу большому начальству” – сказал староста, передавая мне кусочек графита от карандаша длиной около 1,5 см. По его совету я приготовил для письма Сталину большой лист бумаги из курительных листиков, присланных в передаче, склеив их хлебным клейстером по указанному выше способу. Я пересыпал в мешочек махорку из присланных нескольких пачек, а бумажную упаковку их светло-коричневого цвета аккуратно разгладил, получив небольшие листики для черновиков. Кроме того, мне дали еще несколько упаковок мои товарищи по камере. Вздурожженный этими приготовлениями и обдумыванием текста письма



Сталину, я почти забыл про передачу, решив поделиться ею с товарищами на следующий день. А пока мешок стоял под столом посреди камеры. После отбоя вечером меня уложили под нарами, а надо мною в нарах раздвинули доски, оставив щель, через которую проникал вниз луч света от подвешенной под потолком электрической лампочки. И вот лежа на животе под нарами, при этом “щелевом” освещении, я написал на махорочных листах черновик, а затем переписал набело на заготовленный склеенный лист, после чего, вероятно, часа в 3 ночи заснул, предварительно закрыв щель. Утром после подъема я вылез из под нар и обнаружил, что от моей передачи осталось только курево и несколько баранок и кусочков сахара. Я понял, что ребята обиделись, что я не поделился с ними сразу по получении передачи. Они смотрели, как я отнесусь к исчезновению продуктов, а я спокойно сказал, что все правильно сделано, потому что все равно я собирался сегодня поделить передачу между всеми. Атмосфера разрядилась. Староста взял у меня черновики на махорочной бумаге, разорвал на курительные листки и, раздав их всем, велел сразу же свернуть и выкурить до основания. Чистовой же экземпляр он сам плотно скомкал, в тряпке обложил солью и завязал крепким комком, который отдал мне. Кстати, к письму Сталину также была приложена записка маме, чтоб до отправления письма отпечатать много копий, которые послать председателю Совета Министров Молотову, Председателю Верховного Совета Калинину, Наркому Внутренних Дел Ежову, Верховному прокурору Вышинскому, Начальнику Калининского областного Управления НКВД и Калининскому Областному Прокурору и другим по ее усмотрению. Одна сохранившаяся копия теперь прилагается. Утром, после выдачи хлеба и кипятка и выхода в уборную, надзиратель вызвал с вещами старосту камеры т.е. для отправки куда-то. Сразу после этого новым старостой был выбран “золотозубый пахан”, бывший Якутский Наркомфин. После этого была вынута из тайника и собрана рогатка, меня дважды поднимали к окну и только в третий раз я увидел Савелика, стоявшего отдельно позади толпы родственников возле проходной. Сразу же к окну поднялся также один из наших “снайперов”. Я помахал рукой Савелику, он ответил тем же, “снайпер” взял мой комок и выстрелил им из рогатки. Комок упал в канаву близко от Савы, который сразу бросился за ним на четвереньках. В этот момент из проходной выскочил караул, часть во двор, а часть на улицу. Во дворе они начали стрелять по окнам третьего этажа, а на улице, не имея возможности стрелять в Саву, расталкивали силой толпу, явно не желавшую расступаться перед ними. В этот момент, видимо, увидев нас у окна, караульные перенесли стрельбу непосредственно на наше окно. Поспалась штукатурка от ударов пуль, и мы вынуждены были соскочить вниз. Минут через 10 надзиратель вызвал в коридор старосту, который вернулся часа через полтора и сообщил, что его допрашивали – кто стрелял из рогатки, но он никого не выдал, сказал, что он спал и не видел и не слышал ничего, ни про какие рогатки ничего

не знает. А через полчаса вызвали меня с вещами. Ребята решили, что меня отпускают на волю, поскольку я ни в чем не виноват, поздравляли.

Однако, меня без всяких объяснений отвели в караульное помещение при проходной, раздели голым и произвели самый тщательный обыск, в том числе перетирая в руках все швы моей одежды и других вещей. Наконец, в тренчике декоративного ремешка над козырьком кепки нашли остаток графита, которым я писал письмо. Присутствовавший при обыске начальник тюрьмы сразу же написал постановление о заключении меня в карцер на максимальный срок 20 суток, как в камере говорили, “на полную катушку”, что являлось, фактически, смертным приговором. Меня оставили в ботинках, брюках и нижней рубашке, все остальное осталось в караулке, и отвели в карцер. Карцер представлял собой глухую камеру без окна размером примерно 1,6 на 1 м. с звуконепроницаемой обшивкой с двух сторон железом дверью с сырым бетонным полом, мокрыми с плесенью стенами, по которым ползали мокрицы и с единственным предметом мебели – деревянным ведром “парашей”. Не зная, что стало с Савеликом, я остался в состоянии сильного нервного возбуждения, которое спасло, вероятно, меня от простуды, так как сидеть и лежать в карцере можно было только на холодном сыром полу. Однако, мысленно я старался доказать себе, что с Савеликом ничего не случилось, иначе, он был бы задержан в караулке и я, даже если бы не увидел его там, то узнал бы об этом из допроса, учиненного мне во время обыска. Все же полной уверенности не было, и эта мысль неотступно грызла меня. Не знаю, через сколько часов надзиратель открыл дверь и повел меня в уборную, где я опорожнил и ополоскал “парашу”, а также обтер водой руки и лицо, после чего отправился обратно в карцер. Примерно через полчаса тот же надзиратель принес мне ломоть хлеба, примерно, грамм 100 и кружку кипятка, предупредил, что это питание на весь день. Я понял, что сейчас утро. После этого время от времени надзиратель отворачивал крышку глазка и наблюдал за мной. Эти периодические наблюдения, примерно каждый час, на некоторое время прекратились и долго глазок не открывался. Я решил, что наступила ночь, надзиратели спят и, по-видимому, не ошибся. На следующую ночь я восстановил в памяти полученные от “урок” знания азбуки тюремной связи и лежа начал перестукиваться с соседями. Рядом оказались также карцеры, которые, видимо, расположились по всему коридору. Один сосед оказался уголовником, попавшим в карцер по его сообщению “за ножик”. Второй сосед выстукал, что он “бытовик”, сидит третий раз, а за что в карцере, не ответил. Никаких новостей они мне не могли сообщить. Но для меня было важно, что все же азбуку перестукивания я усвоил. Через пару дней ко мне посадили в карцер “урку” лет 25. Он разговаривал с матом через каждые два слова, сказал, что ненавидит хулиганов и одному из них в камере “дал ума”, после чего получил за драку пять суток карцера. А вообще ему шьют “мокрое дело”, но это липа. Все же

я уже был не один в карцере и к тому же ему, видимо, как уголовнику, разрешили взять с собой курево, которого хватило на эти 5 дней на двоих, и он очень деликатно делился со мною. На девятый день моего пребывания в карцере я опять остался один и без курева, но теперь в состоянии какой-то апатии. А через два дня я услышал после обычной тишины в коридоре какой-то шум. Через некоторое время дверь карцера открылась, перед нею стояли четверо в форме НКВД и в тюремной форме, в том числе помощник начальника тюрьмы, ранее приезжавший ко мне по делам на завод “Красный Май” и, вероятно, узнавший меня. Он, видимо, возглавлял комиссию, так как обратился ко мне с вопросами – какие у меня жалобы, сколько дней должен отсидеть в карцере, сколько уже отсидел и за что. Я ответил, что жалоб не имею, постановление 20 суток карцера, отсидел 11 суток в карцере за то, что не сумел хорошо спрятать графит карандаша. Он рассмеялся и, обращаясь к остальным членам комиссии, сказал, что из всех проверенных карцеров только я один честно сказал, за что присужден, остальные сказали, что ни в чем не виноваты. Он записал мою фамилию и по согласованию с комиссией сказал, что за честное признание вины будет ходатайствовать перед руководством о досрочном освобождении меня из карцера.

В тот же вечер меня перевели в одиночную камеру несколько большей площади, нежели карцер, с узким топчаном вдоль стены, электролампочкой под потолком и, конечно, обязательной парашей. Зарешеченное окно на высоте 2,5 м. снаружи было закрыто деревянным козырьком так, что даже поднявшись наверх можно было видеть только небо и частично солнце. Утром мне принесли мое имущество – одежду, полотенце, белье, кружку с ложкой и мешок с остатками маминой посылки. Теперь у меня опять было курево, а оставшиеся баранки и сахар я быстро съел после карцерной голодовки. Конечно, и карцер, и одиночка были звеньями той же цепочки “следственного пресса”. Анализируя все происшествия последнего времени, я еще в карцере понял, что, кроме того оказался жертвой предательства, так как до моего письма обитатели камеры почти ежедневно, а иногда дважды в день отправляли рогаткой свои послания, и никто этого не замечал. А в моем случае уже весь караул был подготовлен и наблюдал за окнами. “Подсадных” осведомителей в камере не было, так как все заключенные находились в ней задолго до меня. Мысленно перебирая всех их, я твердо убедился, что доносчиком был “золоторотый” Наркомфин, и в дальнейшем, уже на свободе, получил подтверждение этого. Очевидно, он во время утреннего выхода в уборную шепнул надзирателю, чтоб тот передал начальству, что в 10 часов будет выброшено из окна письмо Сталину и организует это староста. Он, конечно, еще не знал, написано ли уже письмо или нет и, вероятно, поэтому не был устроен обыск, а было решено поймать виновных с поличным. Старосту из камеры сразу же убрали, и его место занял “золоторотый”. Последний, будучи вызван к начальству после отправки письма,

доложил там все подробно, указав, что у меня должен был остаться графит, который при обыске и явился достаточным поводом для отправки меня в карцер. В то же время в камере полагали, что я уже вышел на волю и, главное, что новый староста никого не предавал. Поэтому, ни в эту камеру, ни к другим уголовникам меня из карцера нельзя было переводить, также как и в камеры 58-й статьи, от которых надо было скрывать, что я написал письмо Сталину о творящихся здесь безобразиях. Все эти соображения в дополнение к “следственному прессу” привели меня в одиночку. На следующий день надзиратель повел меня в тюремную баню. По дороге он спросил меня о месте моей работы до тюрьмы, а когда я ответил, сказал, что знает, что я главный инженер завода, где меня все жалеют, так как я много добра сделал и рабочим, и заводу в целом, о чем он узнал от работающих там знакомых. В бане он дал мне возможность не только вымыться, но и выстирать грязную смену белья, полотенце и платки. На обратном пути на мой вопрос, постоянно ли он дежурит в расположении моей одиночки, последовал ответ, что места дежурства все время меняются, чтобы надзиратели не подружились с заключенными. Видя его расположение ко мне, и когда оказалось, что он слышал про мое письмо Сталину, я его прямо спросил – не задержали ли моего братишку. Он сказал, что об этом не слышал, но, вероятно, не задержали, иначе это стало бы всем известно.

А вечером меня повезли на допрос, который вели совместно Моргунов и Никифоров. Они сразу же заявили, что теперь они твердо знают, что я шпион и должен сам сознаться в этом. На мой ответ, что я не шпион и не враг народа, а действительными врагами народа окажутся они, Никифоров закричал, что он познакомился с моей работой на заводах, что все враги народа прячутся за хорошими показателями. А Моргунов спокойно сказал: “пособника шпиона, твоего братца, мы поймали, и письмо твое в наших руках” и затем начал дословно цитировать выученное им наизусть письмо. Никифоров продолжал цитирование. Страшно возбужденный я закричал, что они все лгут и что, по-видимому, копию письма прислали из высших органов, чтоб они знали, что разоблачены. Меня отправили в тюрьму. Но, видимо, от сильных переживаний, из-за страха за Савелика у меня началась лихорадка с температурой, временами я терял сознание, кричал так, что приходил надзиратель узнать, почему кричу, но, конечно, никакой помощи оказать не мог.

Я лежал пластом на топчане, не ел, только пил. И опять мой ангел-хранитель, мама, спасла меня. После 3 дней лихорадки я получил большую продуктовую передачу, а самое главное, что в продуктовой описи ее, маминим, почерком было написано: “все здоровы, целую мама”. Вот это “все здоровы” вылечило меня – ведь это значило, что с Савеликом все благополучно. Кроме того я понял, что разрешение на продуктовую передачу мама получила где-то в высших инстанциях, очевидно, после моего письма, оказавшего, видимо,

положительное действие. Лихорадка прекратилась, появился аппетит, тем более, что в обильной передаче было много вкусных, питательных, долго сохраняющихся продуктов, а также махорка, бумага и спички. Решетка и нижний козырек окна не мешали проникновению солнечного луча в камеру, так что теперь я различал день от ночи. Но я решил сделать солнечные часы, для чего потихоньку спичкой высверлил в штукатурке отверстие, в которое вставил спичку, замазал жеваным хлебом, а затем по тени разметил полдень, а с учетом времени завтрака и ужина другие часы. (почерк корявый, т.к. пишу лежа в постели с ушибом бедра после падения на улице 30/III – 85 года). Однако, через день надзиратель, приносивший баланду, заметил спичку в стене с разметкой и выдернул ее, сказав, что не положено. Ночью я перестукивался с соседями. Один сообщил, что козырьки на окна поставили неделю назад, что по всему коридору, в конце которого находилась уборная с умывальниками, расположены только одиночные камеры. Второй сосед сообщил, что половина заключенных в нашем этаже утром проходят мимо нас в уборную и что глазки в наших дверях закрыты только стеклом без поворотной заслонки, а также ему сказали, что кто-то отправил Сталину письмо о всех безобразиях здесь, и вся тюрьма знает об этом. Сосед слева был железнодорожник, а второй справа – инженер хлопчатобумажного комбината, оба по 58 статье. Когда я сообщил второму, что письмо отправлено мной, он, назвав свою фамилию, которую я не запомнил, спросил, кто я и откуда. Мой ответ, видимо, пошел дальше. Через день утром я услышал легкое царапанье в дверь, подошел к глазку, закрытому чьим-то лицом, и едва расслышал шепот: “Гуршман, молодец. Мы о тебе все знаем. Бодришь! Я, Носов, директор комбината, ты меня знаешь”. Он отскочил от глазка – видимо, на горизонте появился надзиратель, а за эти переговоры сажали надолго в карцер. Я с ним, действительно, был знаком – встречались на районных совещаниях и общались в порядке взаимопомощи. Он состоял в партии еще до революции, в Гражданскую войну командовал корпусом, награжден двумя орденами Красного Знамени, окончил Промакадемию и до ареста, большой туберкулезом, несколько лет успешно руководил комбинатом. В общем, после этого первого общения с коридором, Носов, а часто и другие товарищи, утром, когда шли в уборную, через каждые 2 - 3 дня подбегали на секунду к моему глазку и сообщали новости, вроде снятия областного прокурора, или общеполитические, а иногда просто со словами надежды и ободрения. Примерно, через неделю после бани тот же надзиратель, войдя в камеру, положил на топчан листок белой бумаги и карандаш, говоря: “напиши родным, я отправлю, приду через час”. Хотелось верить, что это не провокация. Я написал, что ни в чем не виноват на адрес Кати, надеюсь на справедливость Советской Власти, если Боря и Воля нуждаются в деньгах, пусть мама продаст мотоцикл. Через час надзиратель взял записку. Как впоследствии выяснилось, Катя получила обе мои записки – и из милиции, и эту, но Регине

ничего не сказала, а явилась к маме с требованием продать мотоцикл. Мама отказалась, сказав, что мотоцикл еще мне пригодится, т.к. я скоро буду освобожден, а Кате посоветовала поступить на работу, что Катя и сделала. На допросы меня перестали таскать. Благодаря маминей передаче я скоро оправился после карцера, хотя сэкономил в еде и куреве. В баню меня водили, примерно, через 2 недели, только одного, чтоб я ни с кем не общался. Изредка, когда дежурил мой добрый надзиратель, он входил ко мне и беседовал несколько минут, сообщал газетные новости.

Так я просидел в одиночке 4 месяца, иногда по ночам перестукиваясь с соседями, а утром получал через глазок иногда ободрения и изредка секундные сообщения. Своих “друзей” из РО НКВД я больше не видел. За это время я получил от мамы один раз полотенце и второй – пару носков. В середине августа меня вызвали с вещами и отвезли на станцию, где посадили в арестантский вагон с решетками. Конвоир сказал, что меня отправляют в Калинин, где меня из вагона сразу пересадили в закрытый автофургон и отвезли в тюрьму. Там после традиционного обыска меня поместили в большой камере площадью порядка 35 м<sup>2</sup> с населением 42 “контрика”, в подавляющем большинстве уже давно обитавших здесь. Из них явный и открытый враг Советской власти был один, злобный до ненормальности, бывший капитан артиллерии и член партии, скрывший свое дворянское происхождение, отца генерала, начальника Одесского кадетского корпуса. Он открыто говорил, что ненавидит коммунистов и их власть, рабочих называл “чернь”, а крестьян – “быдлом”. Когда узнали, что итальянцы оккупировали Эфиопию, он кричал, что эфиопы – те же жидаы, но с примесью негритянской крови, такие же трусы, и немудрено, что паршивые итальяшки побили их. Освоившись в камере, имея спальное место под нарами, я через несколько дней, поняв, кто он такой, подошел к нему и предупредил, что если еще раз услышу “чернь”, “быдло”, “жидаы” и всякую антисоветчину, то даже под угрозой карцера так разделаю его, что он вообще не сможет говорить. Многие меня поддержали. Однако, после нескольких дней приличного поведения он не выдержал. В камере, кроме меня, был еще один еврей по фамилии Димант, красивый мужчина средних лет, но с одной здоровой рукой, вторая была сухой. И вот когда Димант, вылезая из под нары, задел ногу сидевшего на нарах “капитана”, фамилию которого не могу вспомнить, последний заорал: “Эй, ты, жид сухорукий, советский ублюдок, убирайся к себе под нары”. Меня взорвало. Я подскочил к капитану и со всей силой дважды ударил его по лицу, а когда нас обоих схватили окружающие, угрожая карцером, я кричал, что в карцере я его забью насмерть, и мне ничего не будет за такую гадину. Постепенно страсти улеглись, и он после этого вел себя прилично. Когда я пришел в камеру, по принятому в ней обычаю я громогласно сообщил для всеобщего сведения “краткие анкетные данные о себе и предъявленные обвинения”. Отношение ко

мне окружающих было лояльно-безразличное. Теперь же после скандала создалась атмосфера симпатии ко мне. Первым подошел Димант, поблагодарил за защиту, сказав, что до сих пор ни у кого не хватало желания и смелости утихомирить хулигана. Затем подошел высокий пожилой мужчина с красивым лицом, представился бывшим гвардии полковником Артюховым, пожал мне руку со словами: “уважаю принципиальность”. А потом подходили с выражениями одобрения, уважения и доброжелательности бывшие прокурор Баланев, начальник Пограничного района Мунтерс, два начальника РО УНКВД, майор Комаржик и многие другие. Днем под нарами никто не оставался, все сидели на нарах, потихоньку беседовали друг с другом, а частенько просто молчали. В то время отделившиеся от России в 1918 году Латвия и Литва не входили в состав СССР, а Калининская область распространялась до их границ. Большинство обитателей нашей камеры были жителями приграничных деревень, имевшими родственников и друзей по другую сторону границы, через которую они свободно и официально ходили друг к другу в гости, а иногда, возможно, и с мелкой контрабандой. Эти, в основном, пожилые и не особо грамотные крестьяне, все поголовно обвинялись в шпионаже и измене Родине. Особо одиозной фигурой среди них был 82-летний глухой и одноглазый поляк-садовник Лисковский. Теперь я постепенно узнавал, кто есть кто. Симпатизирующие мне люди подчас рассказывали о своих переживаниях, о прошлом и настоящем.

Баланев, сын печника, окончив Высшее Начальное Училище (примерно 7 классов теперешней школы), ходил с отцом по деревням, клал печи и трубы, одновременно сдавая экстерном экзамены за последующие классы средней школы. В 1914 году через 2 месяца учебной роты направлен на фронт, где, отличившись, получил Георгиевский крест, а затем командирован в краткосрочную школу прапорщиков, снова на фронте получает Георгия и в 1917 году он уже поручик, в 1918 году переходит в Красную Армию, участвует в Гражданской войне, во время которой вступает в партию, а затем, уже командиром полка, во время Польской компании в составе передовых частей Красной Армии, быстро вклинившихся глубоко в Польшу, но из-за незакрепленных тылов оказавшихся в окружении, раненый, попадает в плен к полякам; после заключенного вскоре мира Баланев возвращается, по ранению демобилизуется, сдает экзамен за рабфак, поступает на Юридический факультет Университета, по окончании его работает следователем, Пом. Прокурора и Прокурором. После двукратных отказов дать санкцию на арест органами НКВД невинных людей, Баланев сам оказывается арестованным и обвиненным в измене Родине, как завербованный в Польше шпион.

Два бывших начальника Райотделов НКВД, оба, конечно, члены Партии, оказались в тюрьме также после их отказа арестовывать невинных людей. Один из них молчаливый сдержанный человек лет 45, работавший в приграничном

районе, получил, конечно, другое обвинение – в измене Родине, шпионаже и контрабанде. Второй, живой, эмоциональный белорус лет 35, свободно говоривший по-еврейски, работавший в полу-еврейском городке, женат на еврейке, имевший от нее двух детей, которых вынянчила и воспитывала жившая с ними его теща-еврейка. Он очень переживал за свою семью, что им будет очень туго, поскольку жена получает скромную зарплату, и, не исключено, что ее вообще уволят. Предъявленные ему обвинения звучали анекдотически – антисемитизм и троцкизм.

Высокий, с сохранившейся военной выправкой, хотя в возрасте 50 лет, Артюхов, сын отставного гвардейского офицера и богатого помещика, получил прекрасное домашнее образование, затем, окончил Пажеский корпус, из которого вышел в гвардию, отлично знал литературу и историю, владел тремя языками. Будучи пажом, часто нес службу во дворце при царских особах. В 1914 году участвовал в знаменитом трагическом броске Гвардейского Корпуса в Восточную Пруссию, где в Мазурских болотах была разгромлена и погибла большая часть довоенной Императорской Гвардии. После пополнения оставшейся отступившей части корпуса Артюхов оставался на фронте до конца 1916 года, когда он, уже Гвардии полковник, тяжело раненый, после госпиталя вышел в отставку и уехал в свое имение (владелец двух больших доходных имений), где-то в черте еврейской оседлости. После Октябрьской Революции он, предвосхищая события, сам добровольно отдал свои имения крестьянам, но просил их не делать дележа имения, а делить только доходы от него. Крестьяне послушались и были довольны, а ему оставили часть жилья, после чего он самоучкой изучил бухгалтерию, уехал из имения и до ареста работал в советских учреждениях бухгалтером. Полтора года тому назад его арестовали, предъявив обвинение в участии в заговоре Гвардейских офицеров в 1918 году и антисоветской агитации, а когда эти обвинения стали отпадать, ему сказали, что он не может не быть врагом народа, и он должен в этом сознаться, на что он заявлял, что, действительно, он потерял положение и состояние, и за это изъясняться в благодарности и любви он не может, но никому он не мстил и не вредил, считая революцию исторической неизбежностью. Вначале его часто вызывали “сознайся, что ты враг народа”, а теперь больше года о нем забыли. Когда я спросил Артюхова о его взглядах на монархизм и антисемитизм, он ответил, что монарх, если и нужен, то только для представительства, как в Англии, а антисемитизм он считает большим злом и несправедливостью. В одном из его имений, где он жил, кругом были евреи, которые были и его поставщиками, и покупателями, этих людей в длиннополых лапсердаках с пейсами он уважал за высокую принципиальность и моральную культуру. Во всех делах от мелкого заказа до крупной продажи участка леса их слово неукоснительно и точно исполнялось без всяких письменных оформлений, но зато в субботу или в другой



еврейский праздник ни за какие тысячи нельзя было заставить их работать или заниматься коммерцией; среди них не было убийц, воров, пьяниц, они были хорошими семьянинами, уважали старших, любили своих жен и родственников, хорошо воспитывали и учили своих умных ребятишек. Наряду с этим ассимилированная еврейская интеллигенция не всегда сохраняла все положительные, заслуживающие уважения качества настоящих евреев, и поэтому к ассимиляции Артюхов относился несколько критически.

Среди заключенных выделялся своим внешним видом крупный мужчина лет 50 с красноватым носом. Он одет был в прекрасный синий бостоновый костюм, как оказалось, японский, шелковую сорочку и желтые американские ботинки на толстой подошве. Он оказался уроженцем Харбина, работавшим там плотником на Китайско-Восточной железной дороге, проходившей через Маньчжурию, но принадлежавшей России. Несколько лет назад, когда после конфликтов в Маньчжурии, где хозяйничали японцы, Советское правительство продало им дорогу, около 35000 русских железнодорожников, не пожелавших оставаться у японцев, приехали в Советский Союз и устроились здесь на работу. В их числе был и плотник, который поддерживал связь со многими своими товарищами по прежней работе. Многие из них в течение последнего года постепенно оказывались арестованными. Кто-то из оставшихся на воле сказал ему, что подбирают всех приехавших железнодорожников. А вскоре подошла и его очередь. На допросе его спросили, кто, где и когда его завербовал, и с кем он связан по шпионской работе в пользу Японии. Он, конечно, ответил, что все эти обвинения – чепуха. С тех пор, вот уже 3 месяца, его никуда не вызывали, а он себя ругает, что уехал из Харбина, где жил хорошо, все было в изобилии и очень дешево, а особенно сердечно вспоминал высококачественную и дешевую Смирновскую водку, которой он иногда на досуге баловался.

Арестованный у себя на работе на одной из пограничных застав, бывший начальник погранрайона, благовидный латыш лет 45, по фамилии Мунтерс, состоявший в партии еще до революции, участник Гражданской войны в составе бригады Красных Латышских Стрелков, затем работавший несколько лет дипломатическим курьером Наркомата Иностранных Дел и, наконец, Командир Погранчастей, уже 2 месяца сидел без допроса и не мог понять, за что же его арестовали. У него была интересная образованная жена, которую он любил, и двое ребят-подростков. И вот через некоторое время его вызвали на допрос, после которого он вернулся с трясущимися губами, забрался под нары и, положив голову на руки, зарыдал. Мы все старались его успокоить, говоря, что на допросах всем преподносят ужасные небылицы, и что все мы надеемся на торжество правды и справедливости. Но он был безутешен, бился головой о пол и кричал, что лучше бы его застрелили. Через 2 дня он рассказал, что в нескольких километрах от дома, где он жил с семьей, на территории

погранзаставы, находился небольшой кирпичный завод, директором которого был старый член партии, потомок обрусевших немцев, с которым они были дружны семьями и ходили друг к другу в гости. И вот на допросе ему сообщили, что его приятель – директор, оказался немецким шпионом, который во время частых объездов Мунтерсом его части границы, якобы сожительствовал с его женой, а затем, шантажируя ее, заставил открыть письменный стол мужа, где хранились секретные документы погранрайона, сфотографировал их, положил на место и закрыл стол. Мунтерсу было предъявлено обвинение в раскрытии государственной тайны, связи с врагами народа и пособничестве в шпионаже.

Майор артиллерии Каморжик, небольшого роста, худощавый блондин с правильными чертами лица, обрусевший поляк, родившийся в России, с трудом передвигался по камере, так как на допросах его били сапогами по голени, и синяки и ушибы долго не заживали, поэтому, когда надзиратель предупреждал его “подготовиться к выходу”, мы все собирали для него портянки, платки, полотенца, и он под брюками обматывал ими голени и колени. Его, как поляка, обвиняли в шпионаже в пользу Польши и измене Родине.

Еврей Димант, бывший главный бухгалтер Калининского Рыбтреста, уроженец Калинина, окончивший Экономический институт, был женат на красивой кубанской казачке, от которой имел почти взрослую дочь. Он рассказал мне интересную историю своей женитьбы. Студентом он оказался на практике в большой кубанской казачьей станице, там он влюбился и, как оказалось, не без взаимности в одну из местных красавиц, только что окончившую среднюю школу. Когда дело дошло до серьезного разговора о дальнейшей семейной жизни, он сказал, что им придется преодолеть некоторые препятствия, так как, вероятно, ее родители-казаки не позволят ей выйти замуж за еврея, а его родители будут против женитьбы на девушке из русских казаков, которых они считали поголовно всех антисемитами. В ответ она расхохоталась, а затем объяснила, что никаких препятствий нет, так как все жители их станицы, так же как и некоторых других станиц Кубани, исповедуют еврейскую религию и соблюдают все ее законы, хотя это было уже при Советской власти. Видимо, это было либо наследием хазар, исповедующих еврейскую религию и живших в этих местах, либо, как писали русские историки, распространением в стране так называемой ими “жидовствующей ереси”. В общем, через некоторое время Димант приехал в станицу с родителями и родственниками, и там была устроена свадьба с большим количеством еще и местных гостей, по всем правилам еврейской религии, с обрядом “хупа”, под балдахином, и раввин в казачьей фуражке и шароварах с лампасами, но с “талесом”, читал молитвы по-древнееврейски, а перед началом свадебного пира произнес соответствующие благословения, окончив, провозгласил уже по-русски: “а теперь братие выпьем”. Теперь же Димант, счастливый в семейной жизни и очень тоскующий по семье,

сидел в тюрьме уже несколько месяцев после допросов, в процессе которых ему было предъявлено обвинение во вредительстве, выразившемся в порче партии рыбы где-то на складах.

Были еще истории рассказанных мне судеб, но запомнились наиболее яркие случаи. Примерно, через месяц меня вызвали на допрос. Калининская тюрьма такой же старой постройки с толстыми стенами и двором-крепостью, как и Вышневолоцкая, также расположена на окраине города. Меня вывели во двор и посадили в специальный, плотно закрытый металлический фургон, внутри которого располагался продольный узкий коридор, а по бокам которого были отдельные, плотно закрытые ячейки, закрываемые замками с трехгранным ключом, в которых перевозили заключенных. Высота ячеек исключала возможность стоять в них, а ширина и глубина не позволяли сесть на корточки. Таким образом приходилось в согнутом состоянии полусидеть в воздухе, упираясь коленями в одну стенку, а спиной – в другую. Если к этому прибавить отсутствие притока свежего воздуха, картина комфортабельности транспортировки становится ясной. Естественно, что, когда нас привезли во двор здания НКВД, двоих пассажиров вытаскивали из фургона в полубессознательном состоянии, к счастью, я благополучно перенес поездку, и конвоир доставил меня в один из кабинетов 3 этажа. Здесь меня встретил высокий брюнет с серьезным сосредоточенным лицом. На воротнике у него были, кажется, две шпалы. Кстати, надо сказать, работники НКВД с квадратиками на воротнике назывались сержантами, а шпалы обозначали звания среднего начальства, в то время как в армии квадратики носили средние командиры, а шпалы – старшие командиры. Хозяин кабинета вежливо поздоровался со мной, обращаясь на “Вы”, и представился – “Начальник отдела Осташкин”, достал географические карты, расспрашивал, где и как я работал, после чего попросил рассказать о путешествии с детской колонией, показывая путь на карте, затем подробно расспрашивал о поездке с папой в Германию, а потом спросил, кто такой профессор Георгиевский, и кем были подписаны наши заграничные паспорта. Из вопроса о Георгиевском я понял, что мама представляла необходимые документы. Я ответил, что профессор Георгиевский был председателем медицинской комиссии, давшей заключение о необходимости направления папы с сопровождающим для лечения за границу, а паспорта подписывал Менжинский. После этого он составил сравнительно короткий протокол допроса, проведенного в корректной форме, и после моей подписи вызвал конвоира и отправил меня обратно в тюрьму.

Это было, примерно, в середине сентября. В камере, меня, как и всех, расспрашивали о допросе, и общее мнение было, что меня скоро освободят. Однако, прошел сентябрь, октябрь, ноябрь, меня никуда не вызывали, и в прогнозе товарищей я сомневался. При тюрьме имелся ларек, из которого заключенные по 58 статье, если у них были в тюремной кассе деньги, могли

выписывать мыло, махорку, спички, курительную бумагу и, изредка, полкилограмма хлеба. Конечно, мама сразу узнала об этом и внесла на мое имя небольшую сумму денег. Хотя некоторые товарищи по камере не имели текущего счета в тюрьме, естественно, куревом обеспечены были все, и когда разрешалась покупка хлеба, он также делился на всех. Однажды, когда дверь камеры была открыта, и на пороге производилась раздача обеда, в коридоре раздался сильный шум и крики. Мы увидели бегающих по коридору мальчишек в одном белье, которые с криками рвали на себе рубашки, некоторые окровавленные, видимо, сами себе порезавшие бритвами грудь и живот, кусались и дрались с ловившими их надзирателями. Один из надзирателей, подойдя к нам, велел временно прекратить раздачу и закрыть дверь, объяснив, что, протестуя против тюремного режима, камера малолетних преступников, так называемых “пацанов”, устроила бунт. Через полчаса шум в коридоре прекратился, и раздача обеда продолжилась. У нас в камере тоскливое, тяжелое настроение несколько скрадывалось стихийно созданным обычаем развлекать всю камеру интересными рассказами, кто как и чем сможет. Пальму первенства тут имел Артюхов, который, кроме истории, знал и помнил ряд интереснейших эпизодов из закулисной жизни многих царей, их родни и придворных, о чем, конечно, нигде не писалось. Вспоминается один из его рассказов о таинственных обстоятельствах смерти Александра Первого, когда он, якобы, незадолго перед смертью исчез из дворца и странствовал по России в качестве старца Федора. У Артюхова было еще много историй. Баланев рассказывал интересные криминальные эпизоды из своей практики, Мунтерс – случаи из его работы дикпурьера и пограничной службы. Разговорились и наши крестьяне, в большинстве охотники и рыболовы, которым тоже нашлось, что рассказать. Я по памяти рассказывал “Амок” Цвейга, а также отдельные более яркие эпизоды из путешествия Детской Колонии. Некоторые воспоминания Куприна, Конан Дойля и т.д.

И вот, 1 декабря поздно вечером надзиратель, открыв дверь, вызвал меня и предупредил: “На выход, с вещами”. Было ясно, что в такое время не выводят для освобождения. Опытные товарищи решили, что меня везут в тюрьму, расположенную в подвале здания УНКВД (Управление НКВД) и состоявшую только из одиночек, не имеющих окон, со звукоизолированными стенами и дверьми. Эти опытные товарищи оказались правы. Меня в том же специальном фургоне отвезли в одну из одиночек подвала НКВД, а через полчаса вызвали на допрос, и конвоир отвел меня опять к Осташкину, который снова вежливо поздоровался со мной, а затем сообщив, что глубоко и детально изучил мое дело, спросил, настаиваю ли я на своей невиновности. А когда я ответил, что безусловно настаиваю, он задал новый вопрос: “Что ж по-вашему органы НКВД ошибаются?”. На что я ответил: “в органах работают люди, а согласно древнеримской поговорке людям свойственно ошибаться”. Он засмеялся, и в это

время зазвонил телефон. Он ответил в трубку: “да решено, завтра увидите, не надо приезжать” и затем сердечное пожелание здоровья и благополучия. Затем он задал мне казуистический вопрос: “ведь, если даже вы не были врагом народа, то теперь будете им, если бы вас выпустили?”. Я ответил, что во всех случаях я не был и не буду врагом народа и Советской власти, но, откровенно говоря, к органам НКВД симпатию едва ли буду испытывать, хотя к нему лично пока у меня неприязни нет. На его вопрос, знаю ли, с кем он говорил по телефону, я ответил, что таким даром не обладаю, после чего он, улыбаясь, сказал, что разговаривал с моей мамой и сказал, что завтра она увидит меня на свободе и советовал ей не приезжать сюда. Он вытащил из ящика стола большой лист, подал его мне. Это оказалось постановление о прекращении дела и освобождении меня из под стражи с несколькими подписями и печатью. Я расписался, что ознакомлен с постановлением. После того, как на его вопрос о деньгах я сказал, что деньги у меня есть только в тюремной кассе, он спросил, есть ли у меня в Калинин знакомые, где я могу переночевать, и когда я ответил отрицательно, он сказал, что в таком случае вынужден оставить меня ночевать в их неудобной гостинице, т.е. в тюрьме. Затем он сказал, что очень сожалеет о допущенной органами НКВД ошибке и причиненных мне неприятностях, надеется, что я со временем забуду о них, сказал также очень прочувствованно, что желал бы, чтоб все Советские матери были похожи на маму, что с нею знакомы, кроме него, и некоторые другие их работники и начальник, и все с большим уважением относятся к ней. В заключении он просил меня, если приедет мама встречать меня утром, то при выходе из ворот тюрьмы постараться исключить слезы радости, объятия и поцелуи, в общем, всякие эмоции, чтоб не обращать внимания прохожих. Затем он попрощался со мной, еще раз принося извинения и с конвоиром отправил меня обратно в одиночку. Там я немножко расслабился, так как весь вечер прошел у меня с большим нервным напряжением. Прежде всего, когда надзиратель вызвал “на выход с вещами”, не сказав “на допрос”, мне подумалось, не отправляют ли меня без суда и по постановлению Особого Совещания в лагерь. Это Особое Совещание или, попросту, “Тройка” осуждала заключенных по 58 статье, когда следствию не удавалось доказать виновность, на сроки от 5 до 10 лет лагерей, большей частью на 10. Однако, я вспомнил, что двоим из нашей камеры читали прямо на пороге камеры постановление “тройки” перед отправкой их. С другой стороны подвальная тюрьма НКВД, по разговорам, представлялась страшным местом, где применялись в глухих одиночках недозволенные методы следствия. Когда же я узнал об освобождении, я облегченно вздохнул, но внешне остался спокоен, так что Осташкин даже спросил меня, почему же я не радуюсь, и получил мой ответ, что этот ожидаемый мною закономерный акт справедливости меня не удивил. Однако, его вопрос – есть ли у меня знакомые в Калинин сразу создал тяжелые сомнения. Я вспомнил бывшего Предисполкома в

Вышневолоцкой милиции, освобожденного, а потом опять арестованного, а также разговоры в камере о случаях, когда показывали постановление об освобождении лишь для того, чтоб узнать круг знакомых. Мучимый этими сомнениями, я, естественно, не спал всю ночь, сидел на топчане или ходил по камере взад и вперед. Видимо, за мною наблюдали через глазок, так как уже под утро надзиратель открыл дверь, и вместе с ним вошел, судя по знакам различия, начальник тюрьмы и спросил, почему я не сплю, на что я ответил, что ожидаю освобождения. Он сказал, что тем более мне надо заснуть, чтобы выйти со свежим видом, а он даст распоряжение утром побрить меня. Наступило утро, принесли “пайку” и 2 кусочка сахара, через полчаса – чай. Я, конечно, ни к чему не притронулся. Прошел еще час волнений. Наконец, сюрприз – надзиратель открыл дверь со словами “выходи на допрос”. Сердце у меня упало – значит освобождение не состоялось. На этот раз конвоир отвел меня в комнату на втором этаже, где сидевший за столом, подчеркнуто называя меня “товарищ Гуршман”, вежливо пригласил меня сесть, после чего, ссылаясь на предъявленное мне постановление об освобождении, выдал мне справку о прекращении дела, остатки денег из тюремной кассы, отобранные у меня при обыске на квартире документы, деньги, письма и прочее, за исключением бельгийского охотничьего ружья, моего номерного “Знака Отличника Тяжелой Промышленности”, удостоверения к нему, а также грамоты, подписанной лично Орджоникидзе. На мой вопрос об этих вещах я получил ответ, что из Вышнего Волочка они не поступали, и мне была показана препроводительная опись оттуда. Прощаясь он сказал, чтоб я не держал зла на них за допущенную грубую ошибку, такую тяжелую для меня. Конвоир повел меня в парикмахерскую бриться, а затем опять в камеру, где обыскав меня и все мои вещи, помог уложить их в мешок, и когда я оделся в зимнее полупальто и шапку, в которых я был арестован, провел меня через двор и вывел через ворота на улицу. Там я увидел маму и Савелика, которые ждали меня на морозе более двух часов. Я сделал им знак, чтоб отойти подальше от здания НКВД, и там мы обнялись, расцеловались, мама плакала от радости. После посещения кафе, где мы хорошо позавтракали, хотя я вынужден был воздерживаться от излишеств после скудного тюремного питания, мы отправились на вокзал. Первым поездом мы уехали из Калинина, Сава – в Ленинград, а мама со мной – до Вышнего Волочка.